

оседание

егор минин



18+

Егор Минин

Оседание

«Автор»

2026

Минин Е.

Оседание / Е. Минин — «Автор», 2026

Города, в котором всё это происходило, он не назовёт: тот не имел в его жизни определённости, какая закрепляется именем, — просто один из средних европейских городов, где зимы долги, реки темны, а фонтан на площади не работает ни разу за все годы. Там, в конторе, пропахшей старой бумагой, тянется жизнь помощника нотариуса: чужие завещания, выверка чужих имён, дат и сумм — и та канцелярская тишина, в которой и проходит большая часть жизни тех, кто ею занят. Однажды в ноябре он садится за записки. Ему нужно рассказать о той осени, в которую он вошёл, ничего не подозревая, а вышел уже другим человеком — или, как он говорит сам, перестал быть человеком вовсе. Что именно стряслось с ним в тот год, он объяснит не сразу и не до конца — и лишь в самом конце признается, зачем вообще взялся за перо.

© Минин Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Егор Минин	5
I	6
II	17
III	26
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Оседание

Егор Минин

I

Записки эти я начал в ноябре, в первые холодные дни той осени, которой суждено было оказаться последней в череде осеней, ещё похожих одна на другую, и которая, как я понимаю теперь, отличалась от предыдущих лишь тем, что я в неё вошёл, ничего не подозревая, а вышел из неё уже другим человеком, или, точнее сказать, перестал быть человеком и сделался кем-то другим, для кого слова «другой человек» уже не вполне точны, поскольку предполагают известную преемственность с прежним. Город, в котором всё это происходило, я не стану называть, не из боязни узнавания, а потому что он не имел в моей жизни той определённости, которая закрепляется именем; это был один из тех средних европейских городов, в которых зимы долги, реки темны, трамваи ходят с теми коричнево-зелёными вагонами, что выводят на маршрут ещё с довоенных времён, и в которых улицы носят имена людей, давно никому не известных, и в которых жители различают своих и чужих не по выговору, а по способу обходить лужи. Время — конец одного столетия, точную дату я приводить не вижу нужды, потому что точная дата ничего не объясняла бы ни в этом городе, ни в моей в нём жизни, и потому что точные даты вообще, как я подозреваю, придумали те, кто не умеет различать года иначе.

* * *

В контору я поступил в том возрасте, в каком люди ещё полагают, будто выбирают, а не выбраны, и в каком всякое решение, принятое о собственной жизни, кажется им результатом размышления, а не уступкой обстоятельствам, которых они не разглядели. Контора занимала второй и третий этажи в доме на улице, выходящей одним концом к реке, а другим — к небольшой площади с фонтаном, который не работал ни разу за все годы, что я мимо него проходил, и был, кажется, поставлен в расчёте не на воду, а на ту особенную меланхолию, какую испытывают жители северных городов, глядя на каменную чашу, в которой никогда ничего не плещется. Лестница в подъезде была тёмной, и на ней пахло старой бумагой и тем неопределимым запахом, какой стоит во всех учреждениях, работающих с документами достаточно долго, чтобы документы успели стать веществом, отличным от бумаги, на которой они напечатаны.

Должность моя называлась «младшим помощником», а спустя семь лет — просто «помощником», без эпитета, и эта потеря эпитета была единственной служебной переменой, случившейся со мной за всё время, что я там провёл; никто, разумеется, не назвал её повышением, ибо повышения предполагали ту или иную прибавку к жалованью, а моё жалованье оставалось прежним, как остаётся прежним то, чего никто не пересматривает, потому что некому, и я, в свою очередь, не считал нужным об этом напоминать, исходя из того соображения, что напомнить — значит признать, будто я нуждаюсь, а признаваться в нужде представлялось мне всегда чем-то более унижительным, чем сама нужда, в которой, впрочем, я в те годы ещё не находился. Обязанности мои сводились к подготовке проектов нотариальных актов, к выверке имён, дат и сумм, к чтению чужих завещаний и брачных контрактов, к составлению описей наследственных масс и к той безымянной канцелярской работе, которая составляет существо всякой подобной службы и которую невозможно описать никому, кто никогда её не делал, потому что она не состоит из событий, а состоит из тишины между событиями, и в этой тишине проходит большая часть жизни тех, кто ею занят. Я не любил своей работы и не любил её; я её исполнял, и этим, как мне тогда казалось, всё было сказано. Если бы меня спросили, кем я работаю, я ответил бы без запинки, и в ответе моём не было бы ни гордости, ни стыда, ни даже того лёгкого пренебрежения к собственному ремеслу, какое часто можно услышать у людей, считающих, что они достойны большего; я просто называл бы должность, как называют адрес, и

собеседник, удовлетворённый этим адресом, переходил бы к следующей теме. Меня это устраивало. Тогда я ещё не понимал — а теперь, когда понимаю, понимать уже бесполезно, — что человек, описывающий себя через адрес, уже перестал жить и только продолжает занимать помещение. Контора, если описывать её с тою тщательностью, какой она заслуживает в глазах привыкшего к ней человека и какой никогда не удостоится у случайного посетителя, занимала два этажа в старом доме, перестроенном под учреждение ещё в позапрошлом веке, когда переоборудование жилых помещений в служебные совершалось без той суеты, какая сопутствует подобным операциям сегодня, и стены оставались там же, где они стояли при первых хозяевах, и потолки сохранялись лепные, и двери — высокие, двустворчатые, с медными ручками, потемневшими от прикосновений до того матового оттенка, какого не достигнешь никакой полировкой. На втором этаже, при входе с лестницы, помещалась приёмная — небольшая комната с двумя жёсткими диванами, обитыми коричневой кожей, и круглым столом посередине, на котором всегда лежали два или три устаревших номера юридического журнала, никогда никем не открывавшихся, но и не убиравшихся, и тем самым составлявших как бы декорацию ожидания. За приёмной шёл коридор, длинный и узкий, выходивший в шесть дверей: две вели в кабинеты двух младших нотариусов, помимо господина Б., — господина Л. и господина Д., о которых я скажу далее; одна — в комнату помощников, где сидели мы; одна — в архив; одна — в служебную комнату для машинисток; и последняя — в кабинет самого господина Б., располагавшийся в торцевой части коридора и выходивший окнами на площадь. Третий этаж устроен был проще: там стояли стеллажи с делами, длинные ряды одинаковых картонных папок, расставленных по годам, и помещалась мастерская переплётчика, приходившего раз в неделю по средам, и небольшая комната, в которой курил тот, кому хотелось курить, и куда никто из посторонних не заходил, и где иногда, очень редко, господин Б. сидел один у окна и смотрел на крыши, и я знал, что в эти минуты к нему не следует обращаться, и обходил эту комнату стороной, и был, я думаю, не единственным, кто это знал.

* * *

Господин Б., нотариус, при котором я состоял, был человеком крупного сложения и тихого голоса, с теми мешками под глазами, какие бывают у людей, прочитавших на своём веку слишком много чужих горестей, чтобы сохранить интерес к собственным. Он принадлежал к той вымирающей породе чиновников, для которых служба была не источником дохода и не способом продвижения, а формой существования, единственно ему доступной и потому неоспариваемой; он приходил в контору первым и уходил последним, не из усердия, а потому, что не знал, чем заняться, если уйти раньше. Жены у него не было, или была, но давно; об этом не говорили. В кабинете его, выходившем окнами на ту же площадь с неработающим фонтаном, висела одна-единственная картина — небольшое тёмное полотно, изображавшее, насколько я мог разобрать сквозь слой лака, какую-то аллегорическую сцену из античной жизни, и я за все годы службы так и не собрался ни разу спросить, что именно там изображено, отчасти из тактичности, отчасти из подозрения, что и сам господин Б. этого не знает, а, узнав однажды по случаю, тут же постарался забыть. Со мной он держался ровно, без сердечности, но и без той служебной сухости, какая выдаёт пренебрежение; он говорил со мной так, как говорят с человеком, которого взяли в дом ребёнком и который вырос, не став ни своим, ни чужим, а оставшись на той промежуточной территории, где не требуется ни любить, ни увольнять. Я платил ему той же ровностью. Иногда, очень редко, он обращался ко мне по имени, и в эти минуты у меня возникало неприятное ощущение, будто меня узнали в том месте, где я рассчитывал остаться неузнанным; я отвечал ему коротко, и он, кажется, понимал это и впредь меня по имени не называл, переходя обратно к безличному «вы», в котором мы оба чувствовали себя удобнее. Прочие сотрудники конторы относились ко мне с той смесью равнодушия и

привычки, которая в учреждениях заменяет собой и дружбу, и вражду, и составляет, по сути, единственно возможный там способ общезнания. Господин Л., нотариус помоложе, человек сухой и нервный, с тонкими пальцами и манерой во время разговора слегка дёргать плечом, держался особняком и редко выходил из кабинета. Господин Д., напротив, был человек грузный и шумный, с громким смехом, разносившимся по коридору, и я избегал его не из неприязни, а из той инстинктивной экономии, какую соблюдают люди, не имеющие лишних сил на чужие настроения. Помимо меня в комнате помощников сидели ещё двое: молодой человек, о котором сейчас скажу отдельно, и пожилой господин Т., служивший в конторе ещё с молодости господина Б.; он почти не разговаривал, писал медленно и подолгу разглядывал каждую бумагу перед подписью, и за этот педантизм его терпеливо сносили, потому что он редко ошибался. В приёмной сидела госпожа В., секретарша, женщина немолодая, сохранившая в обращении то жеманное достоинство, какое нередко присуще людям, всю жизнь прослужившим у дверей других, более значительных людей. Машинисток было две: одна, постарше, по фамилии Н., знала меня уже лет пять и здоровалась со мной с той бережной короткостью, какая выдаёт давнюю и невыказанную симпатию, мною, разумеется, не замечавшуюся вовремя; другая, молоденькая, я даже не помню её фамилии, работала недавно и относилась ко мне как к одному из предметов обстановки, что меня вполне устраивало. Была ещё старая женщина, в чьи обязанности входило, по-видимому, поддержание чистоты, разнос чая по кабинетам и время от времени некие негласные поручения, исходившие лично от господина Б., но я никогда не вникал в природу этих поручений и не помню, как её звали. Мы здоровались по утрам, обменивались несколькими словами о погоде, иногда — о бумагах, и расходились по местам, и я никогда не задерживался ни у кого из них дольше, чем требовалось для передачи дела, и никто из них не задерживался у меня; мы исполняли друг при друге роль присутствующих, и роль эта была настолько проста, что мы давно её отыграли и теперь просто доживали в декорациях. Один из помощников, молодой человек, поступивший в контору двумя годами позже меня, отличался той неприятной живостью, которая свойственна людям, не сомневающимся в своём будущем; он громко смеялся в коридоре, шумно открывал двери и имел привычку, разговаривая, класть руку на плечо собеседнику — жест, который я выносил с трудом и от которого однажды отстранился слишком заметно, после чего он стал избегать меня, чему я был только рад. Звали его, кажется, Г., но я не уверен; в памяти моей он остался без имени, как остаются без имени некоторые сны.

* * *

Жил я в те годы в квартире на третьем этаже дома неподалёку от конторы — вдесяти минутах пешком, если идти не торопясь, и в семи, если идти как обыкновенно ходил я, то есть в темпе, выработанном для того, чтобы не приходиться ни слишком рано, ни слишком поздно. Квартира была небольшой, в две комнаты, с кухней, выходившей во двор, и со спальней, в которой по утрам, если стояла ясная погода, на стену ложился прямоугольник света, и этот прямоугольник медленно перемещался к двери, и я, лёжа в постели, иногда наблюдал за ним и думал о том, что вот так же он перемещался здесь и до меня, и будет перемещаться после, и что в этом постоянстве есть нечто утешительное и одновременно нечто, чего я предпочёл бы не понимать. Жена моя — назову её М., поскольку имя её я не хочу здесь произносить, ибо имя есть последняя одежда, которую снимают с покойного, и я не уверен, что имею право снять с неё эту одежду здесь, в тексте, который она никогда не прочтёт, — жена моя в это время обыкновенно уже была на ногах и хлопотала на кухне, и я слышал звук чайника, и звук воды, и иногда — короткий стук, означавший, что она что-то уронила, и я знал, что сейчас последует тихое восклицание, и оно следовало, и я закрывал глаза и лежал ещё минуту, и потом вставал.

Мы прожили вместе семь лет, считая от свадьбы, и одиннадцать, считая от первой встречи, и за эти годы между нами установился тот порядок взаимного присутствия, при котором супруги перестают замечать, что они супруги, и продолжают сожительствовать по инерции и взаимной ровности, не доходящей до нежности, но и не опускающейся до раздражения. М. была женщиной красивой той сдержанной, не сразу заметной красотой, которая раскрывается только тем, кто её ищет, и не раскрывается тем, кто не ищет, и которая в этом смысле представляет собой испытание для смотрящего, не подозревающего, что его испытывают. Я, во всяком случае, поначалу её искал и нашёл; впоследствии — перестал искать, полагая, что найденное хранится, как хранится в шкатулке драгоценность, и не понимая, что красота другого человека — не вещь, и в шкатулке не лежит, и без взгляда исчезает так же, как исчезает прямоугольник света на стене, когда солнце заходит за облако. М. это знала, я думаю; во всяком случае, в последние годы я несколько раз замечал, как она смотрит на меня тем особенным взглядом, в котором нет ни упрёка, ни ожидания, а есть только наблюдение, и взгляд этот настораживал меня, и я отводил глаза, и потом забывал. О том, какие именно отношения связывали нас в те годы, я не сумею здесь рассказать с честностью, потому что честность предполагала бы, что я понимаю, какие отношения нас связывали, а я не понимаю и теперь, когда есть время понять. Мы разговаривали — о деле, о покупках, о её родственниках, о моих сослуживцах; мы ели за одним столом; мы ложились в одну постель и иногда — реже, чем в первые годы, и не настолько редко, чтобы это превратилось в отсутствие, — между нами случалось то, что случается между мужем и женой. Мы не ссорились, и я долго гордился этим про себя, как гордится своим имуществом тот, кто не знает, что имущество это давно перешло в собственность кредитора и держится за ним только потому, что кредитор не торопится с описью. Теперь я думаю, что ссоры — это форма внимания, и что отсутствие ссор бывает двух родов: одно от любви, другое от отсутствия, и я слишком поздно научился их различать, а вернее сказать, не научился вовсе, и научился только тому, что они различаются, и что я был не в том браке, в каком думал.

В одном я был неправ настолько отчётливо, что готов признать это здесь без обиняков, хотя бы для того, чтобы избавить читателя от необходимости меня в этом уличать: я обращался с ней холодно. Не грубо, не жестоко в том смысле, в каком жестокость видна; а холодно той незаметной холодностью, которая выражается не в действиях, а в их отсутствии, не в словах, а в паузах между словами, не в том, что говорится, а в том, что остаётся непрозвучавшим там, где другой ждал, чтобы прозвучало. Я мог не заметить, что она вернулась домой в слезах; я мог пройти мимо, занятый своими бумагами, и потом, через час, обратить внимание, что глаза у неё красные, и спросить — не из участия, а из той светской вежливости, какую полагается оказывать домочадцам, — что случилось, и услышать «ничего», и принять это «ничего» с облегчением, и вернуться к бумагам. Я мог в ответ на её рассказ — а она рассказывала редко, и рассказывала всё короче, чем дальше, и я не задумывался, отчего, — сказать ей что-нибудь язвительное, что в моём ощущении было иронией, а в её ощущении, как я понимаю теперь, было раной; и я не замечал раны, потому что я был занят формой собственного остроумия, и собственное остроумие в эти минуты казалось мне куда более существенным, чем человек, который сидел напротив. Я не считал этого жестокостью. Я считал это усталостью, и характером, и привычкой, и тем, что вообще между супругами после стольких лет, и многим другим, чем человек оправдывает себя, не замечая, что оправдания эти он берёт у себя же взаймы, и что заимствовать ему скоро будет неоткуда.

* * *

Контора, как я уже сказал, помещалась в доме на углу, и в первый этаж этого дома, под нами, выходил небольшой магазин канцелярских товаров, в котором я последние годы покупал перья, тетради и тот особенный сорт чернил, которым предпочитал писать, когда писал для

себя, — что в годы службы случалось всё реже и в конце концов перестало случаться вовсе, причём перестало так тихо, что я даже не помню той последней тетради, на которой это прекратилось. Хозяин магазина, господин К., был стариком неопределённого возраста, в очках с проволочной оправой и в жилете, который он, я думаю, не менял с тех пор, как открыл свою лавку; он знал меня в лицо и здоровался со мной кивком, и в редких случаях, когда я задерживался у прилавка, мог сказать слово о том, что приходитновая партия бумаги, или что чернила, которые я предпочитаю, скоро перестанут выпускать, и тогда мне следует запастись, и я запасался, и был ему благодарен этой ровной благодарностью покупателя, не переходящей в дружбу. Над лавкой висела тяжёлая медная вывеска, и эта вывеска иногда поскрипывала на ветру тем тонким, длинным звуком, который я слышал у себя в комнате наверху, в конторе, особенно осенью, и звук этот был для меня частью службы наравне с запахом бумаги и с шумом трамваев на углу, и я знал, что когда-нибудь его не будет, как не будет всего прочего, но я не верил в это знание, потому что нельзя верить в исчезновение того, что слышишь каждый день.

Маршрут мой от дома до конторы пролегал через ту самую площадь с неработающим фонтаном, и я проходил её каждое утро в одно и то же время, плюс-минус две минуты, и встречал на ней одних и тех же людей, чьих имён я не знал, но чьи лица различал так же отчётливо, как лица собственных сослуживцев, а то и отчётливее, потому что сослуживцев я видел занятыми, а этих — праздными, и в праздности человек виден лучше. Была там женщина с собакой, маленькой и старой, и собака эта тащила за хозяйкой неохотно, и хозяйка, кажется, не любила её, но и не бросала, и в этом упорстве нелюбящего обращения с тем, от кого нельзя отделаться, было нечто, чего я не хотел в себе узнавать. Был там старик в шляпе, читавший на скамейке одну и ту же газету, как мне казалось, потому что я никогда не видел в его руках другой, хотя, разумеется, газета сменялась, и я просто не замечал этого, как не замечаешь дней, когда они похожи. Был там продавец каштанов, появлявшийся осенью и исчезающий весной, и зимою я покупал у него каштаны, не из любви к каштанам, а из той же ровности, с какой я делал почти всё в те годы.

И я думал — теперь думаю, тогда не думал, тогда я просто шёл, — что вот так бы и проходила жизнь, шаг за шагом, от лавки к фонтану, от фонтана к подъезду, от подъезда к лестнице, от лестницы к столу, и что в этом не было ничего ни плохого, ни хорошего, а было то, что было, и что назвать этим словом — «было» — означало бы уже выйти из этого, а я не хотел выходить и не собирался, и не подозревал, что выход назначен не мной.

* * *

Ошибка моя, послужившая поводом к увольнению, была настолько незначительной, что описать её здесь во всей её мелочности я могу только с тем чувством стыда, какое испытывает человек, рассказывающий, что великое здание его жизни обрушилось от неточно поставленной запятой; и тем не менее именно так оно и обрушилось, и я не буду облагораживать причину, потому что облагораживание причины было бы предательством по отношению к существу дела, состоящему в том, что причина была ничтожна, а следствие — окончательно. Дело шло о составлении описи имущества по случаю наследства некоего господина Ф., человека, при жизни ничем меня не занимавшего и после смерти оказавшегося в моём ведении лишь потому, что бумаги его легли на мой стол в порядке очерёдности, а не по выбору. Опись была обширной; имущество — разнородным; среди прочего значился пакет ценных бумаг, оформленных на имя некоей госпожи Ф., жены покойного, и пакет другой, меньший, оформленный на имя другой госпожи Ф., которая, как выяснилось позднее, приходилась покойному не женой, а дочерью от первого брака, и о существовании которой первая госпожа Ф., как опять же выяснилось позднее, не подозревала вовсе или подозревала, но предпочитала не знать. Имена этих двух женщин различались лишь в средней литере отчества — обстоятельство, в нотариаль-

ной практике встречающееся достаточно часто, чтобы выработать особый порядок проверки, и достаточно редко, чтобы об этом порядке можно было забыть, особенно человеку, давно переставшему относиться к собственной работе с тем напряжённым вниманием, которое одно только и удерживает от ошибки. Я перепутал литеру. Я записал то, что причиталось дочери, на имя жены, и то, что причиталось жене, — на имя дочери, и подписал бумагу, и отдал её на проверку, и проверка не выловила ошибки, потому что проверявший доверился мне, как я доверился самому себе, и оба мы доверились напрасно.

Ошибка вскрылась через две недели, при первом же запросе одной из госпож Ф. в банк, и эта вскрывшаяся ошибка повлекла за собой ту цепочку неприятных объяснений, какая в подобных случаях неизбежна и какая всегда заканчивается тем, что один человек оказывается виноват, и человеком этим был я. Само по себе исправление заняло, я полагаю, не более одного рабочего дня, и убытка, в денежном выражении, никому не причинило, поскольку всё было обнаружено вовремя. Но дело, разумеется, было не в убытке. Дело было в том, что обе госпожи Ф., узнав одна о существовании другой через бумагу, в которой обе значились наследницами одного и того же лица, оказались поставлены лицом к лицу таким способом, какого они себе никогда не желали и какого нельзя было пожелать им, и господин Б., нотариус, получил в свою контору жалобу, и жалоба была длинной, и в ней было много слов, описывавших не столько ущерб денежный, сколько ущерб нравственный, и нравственный ущерб этот, как ни странно, был самым настоящим, потому что узнать о покойном муже и отце то, чего не знали при его жизни, — это и есть нравственный ущерб в чистом виде, и господин Б. это понимал, и я это понимал, и понимали, я думаю, мои сослуживцы по комнате помощников, которых обстоятельства этой жалобы прямо не касались, но которым тем не менее предстояло теперь несколько дней обсуждать её вполголоса в коридоре.

* * *

Господин Б. вызвал меня к себе в кабинет в четверг, к концу дня, когда солнце уже ушло с площади и в окнах напротив зажигались первые лампы. Он сидел за своим большим столом, и перед ним лежала та самая жалоба, и он не поднял на меня глаз, когда я вошёл, и не предложил мне сесть, и я остался стоять, и стояние моё в этом кабинете было первым за все годы моей службы, в продолжение которых я входил сюда либо чтобы положить бумагу, либо чтобы её забрать, либо чтобы обменяться двумя фразами о каком-нибудь текущем деле, всегда коротко и всегда уходя; теперь же я стоял, и стояние моё имело длительность, и в этой длительности заключалось всё.

Господин Б. читал жалобу — то есть делал вид, что читает, потому что прочёл её, конечно, уже не один раз, — и я следил за движением его глаз по строкам и заметил в какойто момент, что глаза его остановились и больше не двигаются, и что он, стало быть, не читает, а думает, и думает обо мне, и думает не как о подчинённом, которого предстоит наказать, а как о человеке, с которым предстоит расстаться, и эти две вещи — наказать и расстаться — он различал так же отчётливо, как различал их я, и оба мы знали, что речь пойдёт не о выговоре. Тогда я впервые подумал, что меня уволят, и подумал это с тем странным облегчением, с каким больной слышит наконец произнесённый диагноз, которого боялся столько, что страх его сделался утомительнее самой болезни.

— Я прочитал жалобу, — сказал господин Б. наконец, не поднимая глаз. — Думаю, вы тоже её прочитали.

— Да, — сказал я.

— И что вы о ней думаете? Я задумался — не над ответом, а над тем, ждёт ли он действительно ответа или задал этот вопрос из той служебной обходительности, какая требует, чтобы человеку, которого собираются лишить места, дали высказаться, прежде чем места его

лишат. Я решил, что он ждёт. — Я думаю, — сказал я, — что жалоба обоснована. Ошибка моя. Я не оспариваю. — Хорошо, — сказал он, и снова замолчал, и снова я стоял, и снова в окне напротив зажглась ещё одна лампа, и кто-то прошёл мимо окна, и силуэт этого кого-то на секунду заслонил собой свет, а потом ушёл из рамы, и лампа снова стала видна, и я отчего-то проследил за этим коротким исчезновением и появлением с такой пристальностью, как будто от него зависело то, что должно было сейчас прозвучать в кабинете. — Я работаю в нотариате тридцать четыре года, — сказал господин Б. — За эти годы я повидал немало ошибок, и собственных, и чужих, и научился различать ошибки, происходящие от неопытности, от усталости, от невнимания, от случайности, и ошибки, происходящие от другого. Ошибки первых четырёх родов исправимы. Ошибка пятого рода — нет, потому что её совершает не рука и не глаз, а тот, в ком рука и глаз служат. Я не говорю, что я знаю, какого рода ваша ошибка. Я говорю, что я её не понимаю, и непонимание моё длится не один день и не два, а тянется уже год, а может быть, и больше. Я наблюдаю за вами, и наблюдение моё приводит меня к выводу, который я не желал бы сделать и который тем не менее сделаю, потому что иначе я перестану понимать самого себя, а в моём возрасте это уже непозволительно. Он наконец поднял на меня глаза, и я увидел в них не гнев и не сожаление, а ту тяжёлую усталость, какая бывает у людей, вынужденных говорить вслух то, что они слишком долго формулировали про себя. — Вас здесь нет, — сказал он. — Вас не было, я думаю, последние года полтора, а может быть, и больше. Я не знаю, где вы, и не считаю себя вправе спрашивать. Но я не могу больше держать на службе пустое место, потому что пустое место подписывает бумаги, а бумаги касаются людей, и люди начинают страдать оттого, что их касается пустое место, а не человек. Ошибка по делу господина Ф. — это не причина, это повод. Причина в другом, и причина эта — вы, или, точнее сказать, то, что от вас осталось здесь, в этих стенах, после того как вы сами отсюда ушли, не сообщив мне об этом. Я молчал. Я ждал, что он скажет дальше, и одновременно я знал, что дальше ничего особенного сказано не будет, потому что главное уже сказано, и сказано настолько точно, что добавлять к этому что бы то ни было означало бы ослабить сказанное. — Я попрошу вас, — сказал он, помолчав, — оставить должность к концу месяца. До этого срока вы доработаете текущие дела — те, что не требуют новых решений, а только закрытия. Жалованье я выплачу вам полностью за этот месяц и сверх того за следующий, в виде, скажем так, прощального жеста. Рекомендательного письма я вам, простите, не дам — не потому что считаю вас человеком дурным, а потому что не могу солгать. Если вы захотите, я могу никому не говорить о причинах. Если кто-нибудь спросит, я скажу, что вы ушли сами. — Благодарю вас, — сказал я. Это было всё. Я повернулся и вышел из кабинета, и закрыл за собой дверь, и прошёл по коридору к своему столу, и сел, и положил руки на бумаги, лежавшие передо мной, и просидел так, я думаю, минут двадцать, не двигаясь и ни о чём не думая, потому что думать в эту минуту было нечем и не о чем, и мысль во мне как будто бы остановилась, не сломавшись, а просто перестав иметь применение. Потом я поднял голову, и обнаружил, что в коридоре уже темно, и что лампу над моим столом я почему-то не зажёл, и что бумаги, на которых лежали мои руки, написаны были не мною, и я не помню, чьи они, и почему я держу на них руки, как будто оберегаю что-то, что мне не принадлежит.

* * *

Дома в тот вечер я не сказал М. ничего. Не из расчёта и не из стыда, как мог бы предположить читатель, склонный к простым объяснениям, а потому, что не нашёл способа сообщить ей о случившемся, не передав ей одновременно тех слов господина Б., которые касались уже не службы, а меня, и которые я не готов был передавать никому, и менее всего ей, поскольку она, услышав их, поняла бы что-то такое, чего я ещё не хотел, чтобы она поняла, или, может быть, поняла бы то самое, что давно уже поняла без меня, и подтвердила бы это понимание кивком,

и кивок этот был бы для меня невыносимее самого увольнения. Поэтому я промолчал, и ужинали мы как обыкновенно, и она спросила, как прошёл день, и я ответил — обыкновенно, и она спросила, не устал ли я, и я ответил — нет, не больше обычного, и она посмотрела на меня тем особенным взглядом, о котором я уже говорил, и взгляд этот длился секунду дольше, чем нужно, и потом она отвела глаза и принялась за тарелку, и больше ни о чём не спрашивала в тот вечер. Я лёг рано, сославшись на головную боль, которой у меня не было. Лёжа в темноте, я слышал, как М. убирает посуду на кухне, как открывает и закрывает шкаф, как включает на минуту воду и выключает, и звуки эти были привычны, и я знал каждый из них наперёд, и в этом знании было какое-то жестокое успокоение, потому что оно означало, что мир ещё стоит, что М. ещё на кухне, что вода ещё идёт по трубам, что завтра наступит, и что завтра я ещё пойду в контору, потому что до конца месяца оставалось три недели, и в эти три недели я ещё имел право пройти через площадь, и поздороваться с продавцом каштанов, и подняться по тёмной лестнице, и сесть за свой стол, и эти три недели я предполагал прожить в точности так, как прожил предыдущие семь лет, поскольку никакой другой способ их прожить мне не приходил в голову, да и не должен был приходиться. Но потом, лёжа в темноте и продолжая слушать звуки на кухне, я подумал о словах господина Б. — о тех его словах, в которых он говорил, что меня здесь нет уже полтора года, а может быть, и больше, — и подумал об этом не как о служебной формулировке, послужившей основанием к увольнению, а как о свидетельстве человека, наблюдавшего за мной со стороны и видевшего то, чего я не видел сам. И тут впервые мне сделалось холодно — не в том смысле, в каком бывает холодно от сквозняка или от тонкого одеяла, а в том другом смысле, в каком становится холодно человеку, заметившему, что его давно уже здесь нет, а есть только привычка, которой он называл себя, и что привычка эта удерживается не им, внешними обстоятельствами — конторой, квартирой, женой, маршрутом, — и что обстоятельства эти, как только пожелают, могут перестать его удерживать, и тогда от него не останется ничего, кроме воспоминания, и то ненадолго. Я лежал и думал об этом, и М. вошла в спальню, разделась в темноте — она всегда раздевалась в темноте, я не знал почему, и не спрашивал, — и легла рядом, и спросила тихо, сплю ли я, и я ответил, что нет, и она ничего больше не сказала, и мы лежали рядом, не касаясь друг друга, и я слышал её дыхание, и оно было ровным, но не было дыханием спящего человека, и я знал, что она тоже лежит и о чём-то думает, и я знал также, что не спрошу её, о чём, и что она не скажет, и что между нами в этой темноте лежит сейчас расстояние, которое преодолеть можно было одним словом, и слова этого ни она, ни я не произнесём, и не потому что не хотим, а потому что не умеем больше, или, может быть, никогда не умели, и теперь только обнаруживаем, что не умели, и обнаружение это запоздалое, потому что ничего уже нельзя начать, можно только продолжать в том режиме, в каком привыкли.

* * *

Три недели до конца месяца я отработал в точности так, как обещал себе в ту ночь. Я приходил в контору вовремя, я садился за свой стол, я заканчивал дела, не требующие новых решений, я подписывал последние бумаги, и подпись моя в эти дни не отличалась от подписи прежних лет, и никто, разумеется, не мог бы по подписи угадать, что человек, её ставящий, более не служит, а лишь дослуживает, и что это — две разные вещи, и что одна из них есть продолжение, а другая — уже мёртвая её копия. Господин Б. вёл себя со мной ровно; даже, я бы сказал, ровнее обыкновенного, и в этой подчёркнутой ровности была та особенная деликатность, какую проявляют к умирающему: не как к больному, а как к человеку, у которого осталось мало времени, и которому хочется дать прожить это время так, как если бы ничего не произошло. Я был ему благодарен за это и не сумел этой благодарности выразить, потому

что выражение благодарности предполагало бы признание ситуации, в которой благодарность уместна, а я предпочитал не признавать.

Сослуживцы мои, по-видимому, ничего не знали — или знали, но молчали; во всяком случае, отношение их ко мне не переменилось, и я склонен думать, что не переменилось оно потому, что им и переменяться было не с чего: я для них и прежде был достаточно прозрачен, чтобы исчезнуть незаметно, и в этом смысле увольнение моё лишь оформляло то, что было их повседневным переживанием меня. Молодой Г. однажды, столкнувшись со мной в коридоре, заговорил было о каком-то деле, и я ответил ему, и мы обменялись двумя или тремя фразами, и он, не дослушав, отвернулся и пошёл дальше, и я понял в эту минуту, что меня для него больше нет, и что не из злого умысла, а из той естественной избирательности живых, которая отбраковывает мёртвое прежде, чем мёртвое успевает заметить за собой смерть.

В предпоследний день месяца — последний приходился на воскресенье, в которое контора не работала, — я пришёл, как обыкновенно, и провёл этот день, разбирая ящики стола и складывая в небольшую папку те немногие бумаги, которые принадлежали мне лично и которые я хотел унести с собой. Бумаг оказалось мало: несколько служебных записок, никому не нужных и сохранённых мной по неясной причине; пара квитанций о выплате жалованья за давние годы; чёрный конверт с надписью «Личное», в котором лежали два или три ничтожных листка, какие хранят люди, не имеющие что хранить, и сохраняющие пустяки за неимением драгоценностей. Я сложил всё это в папку и закрыл её, и завязал тесёмки, и поставил папку у стола, и сел, и просидел ещё час, не делая ничего. Потом я встал, надел пальто, взял папку и пошёл к господину Б. попрощаться. Он сидел в кабинете в той же позе, в какой я застал его три недели назад, и так же лежали перед ним бумаги, и так же висела за его спиной тёмная картина с аллегорической сценой, и я подумал, что в этом кабинете время ничего не делает с предметами, потому что ему здесь нечем заняться. Господин Б. поднял голову, увидел меня, кивнул и встал из-за стола. Он подошёл ко мне и протянул руку, и я протянул свою, и мы пожали друг другу руки коротко, без слов, и в этом рукопожатии было всё, что мы могли сказать друг другу и чего ни он, ни я говорить не собирались. Потом он сказал:

— Берегите себя.

И я сказал:

— Благодарю вас.

И это было всё. Я вышел из кабинета, спустился по тёмной лестнице, прошёл через подъезд и вышел на улицу, и в этот момент, выходя на улицу, я обнаружил, что не знаю, куда мне идти.

Я знал, разумеется, куда мне идти физически: домой, через площадь с неработающим фонтаном, мимо магазина господина К., который был в это время ещё открыт, и где можно было бы зайти, и где я не стал заходить, потому что мне нечего было покупать. Я знал маршрут в том механическом смысле, в каком ноги знают дорогу, по которой ходили семь лет; и ноги мои действительно пошли в нужном направлении, и я не препятствовал им. Но в другом смысле — в том, который и есть, по правде сказать, единственный смысл, имеющий значение, — я не знал, куда идти, потому что идти отныне было некуда, и хождение моё домой не было больше хождением домой с работы, а было просто хождением, ничем неоправданным, и я понимал, что и завтра, и послезавтра, и через неделю мне предстоит совершать это хождение или подобное ему, и что внешне всё будет похоже на жизнь, но что внутри хождения этого нет уже того стержня, того тонкого, незаметного стержня, который только и делал хождение — хождением, а возвращение — возвращением.

* * *

Дома я снова ничего не сказал М. — то есть сказал, разумеется, что вернулся, и поцеловал её в висок, как делал это обыкновенно, и она спросила, как день, и я ответил, как ответил бы всякий другой день, что обыкновенно, и она кивнула. Но что-то, я думаю, в моём лице или в моём голосе её насторожило, потому что в течение вечера она два или три раза посмотрела на меня тем своим взглядом, и взгляд этот становился всё длиннее, и в третий раз он длился настолько долго, что я не выдержал и сказал: — Что? — Ничего, — сказала она. — Просто смотрю.

— Просто так не смотрят.

— Иногда смотрят, — сказала она и улыбнулась той улыбкой, в которой не было ничего весёлого, а была одна только усталость, которую она прятала много лет, и которая теперь показалась ненадолго и снова спряталась, и я подумал — теперь думаю, тогда не подумал, — что это была первая трещина.

Я сказал ей о конторе в среду на следующей неделе, когда уже три дня сидел дома и она, надо думать, начинала недоумевать, отчего я не уйду по утрам. Я сказал коротко: что меня попросили уйти, что причина — служебная ошибка, что жалование будут выплачивать ещё месяц. О словах господина Б. касательно того, что меня там не было уже полтора года, я не сказал. М. выслушала меня молча, и потом спросила:

— Ты будешь искать новое место?

— Да, — сказал я. — Буду.

— Когда?

— Когда устрою себя.

— Себя?

— То есть когда отдохну. После всего этого, — я неопределённо повёл рукой, — нужно прийти в себя.

М. кивнула, и больше ничего не спросила. Она встала, унесла на кухню чашки и оттуда сказала — голос её доходил приглушённо через коридор, — что ужин будет в семь, и я ответил, что хорошо, и потом сидел в той же позе, в которой сидел до её ухода на кухню, и думал о слове «себя», которое только что произнёс дважды, и о том, что слово это было пустым: не было никого, кто отдыхал бы, не было никого, к кому возвращаются, не было никого, кого устраивают. Было пальто, висящее в прихожей; была эта самая комната; была чашка передо мной, в которой остыл чай; было имя, которое я носил, и адрес, на который я был прописан, и подпись, которой я подписывал бумаги, — и всё это можно было сложить в папку, как я сложил три дня назад те бумаги в конторе, и можно было сказать: вот, это всё, что есть; и нельзя было сказать: вот я; и я не знал, когда это перестало быть возможным, потому что я не помнил, чтобы это когда-нибудь было возможно, и впервые в тот вечер у меня шевельнулась мысль, что, может быть, и не было никогда, и что я просто долгое время не замечал.

* * *

В последующие недели я делал вид, что ищу место. Я раскрывал по утрам газету и просматривал колонку объявлений, и иногда выписывал на отдельный листок один-два адреса, и иногда даже выходил из дому к назначенному часу и шёл по выписанному адресу, и приходил, и сидел в приёмной, и беседовал с тем или иным управляющим о возможной должности, и в иных случаях даже оставлял свои сведения, и обещал зайти, и не заходил. Делал я всё это с тем механическим прилежанием, с каким человек, не имеющий веры, исполняет обряд: жесты были правильны, последовательность соблюдена, наружный наблюдатель не отличил бы меня от верующего; но внутри жестов не было никакой тяги к их продолжению, и я знал это, и тем не менее продолжал, потому что не знал, что делать иначе, и потому что М. ждала, что я что-нибудь делаю, и я давал ей это «что-нибудь». М. не спрашивала о подробностях. Она спраши-

вала только: «Был сегодня где-нибудь?» — и я отвечал «да» или «нет», в зависимости от того, был я где-нибудь или не был, и она кивала, и больше ничего не спрашивала, и в её некасании этой темы было уже больше понимания, чем я готов был принять. Иногда я ловил себя на том, что злюсь на неё за это понимание — за то, что она не настаивает, не требует отчёта, не задаёт тех неудобных вопросов, которыми жена имеет полное право доставать мужа в его трудный час; и злость эта была несправедливой, ибо несправедливо требовать от другого, чтобы он одновременно и понимал тебя, и делал вид, что не понимает; но я в эти недели нередко был несправедлив про себя — не вслух, ибо вслух я по-прежнему сохранял ту ровность, какая была моей привычной маской, — а про себя я бывал несправедлив, и в моменты этой несправедливости позволял себе короткие, мелкие, недостойные мысли о ней, которых здесь приводить не стану, потому что они не делают чести ни ей, ни тем более мне, а только показывают, как быстро человек, оставшийся без места, начинает изыскивать виноватого, и как охотно он находит этого виноватого среди тех, кто ему ближе всего, и потому всех беззащитнее перед его поисками. Должность, надо сказать, мне найти было нетрудно, в том смысле, что я был ещё молод, имел опыт, и нотариальные конторы города нуждались в работниках. Я провёл, как я уже сказал, две или три беседы, и в одной из них мне даже сделали ясное и конкретное предложение, с указанием жалованья и срока выхода на службу, и предложение это было лучше прежнего по жалованью и хуже по характеру самой конторы, расположенной в районе, который я не любил, и в которой управляющий был человеком той громкой и хваткой породы, какая всегда внушала мне неопределённый страх. Я обещал подумать. Я думал три дня, в течение которых не звонил и не отвечал на их звонки, и на четвёртый день мне пришло на ум, что я уже отказал, не отказывая, и что отказ этот произошёл не в результате размышления, а в результате того, что я не имел сил произвести усилие, потребное для согласия, и что усилие это было бы первым из той длинной цепи усилий, какие предполагает всякое новое место, и что цепи этой я больше тянуть не могу. Я не позвонил им и на четвёртый день, и они перестали звонить мне, и таким образом дело закрылось.

Я не сказал М. ни о предложении, ни о своём отказе. Это была первая прямая ложь, которую я допустил по отношению к ней в эти недели, — не ложь словом, а ложь молчанием там, где должно было прозвучать слово; и от этой первой лжи, как от первого падения камня в воду, пошли круги, потому что всякая ложь требует следующей, и через несколько дней я лгал уже по-разному: о том, где был, и с кем виделся, и что мне сказали, и что я ответил. Лгал я при этом всё больше не для того, чтобы что-то от неё скрыть, а для того, чтобы скрыть от самого себя то обстоятельство, что я не ищу больше ничего и не собираюсь искать, и что внутри меня произошёл сдвиг, который я не сумел бы назвать, но который чувствовал, как чувствуют у себя в спине боль, которой не было вчера и которая, если её не назвать сегодня, останется навсегда.

* * *

Так прошёл месяц, и другой, и третий. Деньги, оставленные мне господином Б. в виде прощального жеста, кончились, и кончились те небольшие сбережения, которые М. вела отдельно от меня и из которых она поначалу не торопила меня покрывать наши расходы, а потом стала торопить — деликатно, без нажима, но всё чаще; и тогда я понял, что нам придётся переехать, потому что квартиру, которую мы занимали, мы не могли больше оплачивать; и я сказал об этом М., и она сказала, что да, конечно, придётся, и в голосе её не было ни упрёка, ни уныния, а была та твёрдая ровность, с какой принимают неизбежное у людей, переживших на своём веку много неизбежного и потому переставших с ним спорить. Мы стали искать жильё.

II

Жильё мы искали недолго, потому что искали в нижней части города, а в нижней части города жильё всегда есть, и есть оно тем охотнее, чем меньше человек может за него заплатить, что является, по-видимому, одним из тех законов, которые делают существование бедности удобным для тех, кто её распределяет, и невыносимым для тех, на кого она ложится. Мы дали объявление, и получили несколько ответов, и осмотрели три или четыре квартиры, и каждая из них, в той или иной мере, отвечала тому представлению о падении, какое складывалось у меня в голове в эти дни и которое я в течение всего поиска старался от М. скрывать, заменяя в разговорах с ней слова «дешево» и «хуже» нейтральными «подходяще» и «по средствам», как будто перемена слова могла переменить вещь, на которую слово указывает, и как будто М. сама не видела того, что я скрывал, в той же мере, в какой видел это я, и не понимала, что я скрываю, и не молчала об этом своём понимании из той деликатности, которая в иные минуты бывает хуже упрёка, потому что упрёк, по крайней мере, предполагает возможность ответа, а деликатность не предполагает ничего.

Выбор пал на квартиру в районе, носившем в городе название, которого я здесь приводить не стану, поскольку название это, помимо своей географической определённости, имело в обиходе оттенок, который в годы, о которых идёт речь, ещё считался уничижительным, а ныне, надо полагать, выровнялся и сделался нейтральным, как выравниваются и делаются нейтральными почти все наименования, переходя из живого языка в реестровый. Достаточно сказать, что район этот располагался на восточной окраине города, за железнодорожными путями, и что улицы там носили по большей части номерные обозначения, а не имена, и что в этой номерной анонимности, в этом отказе от человеческой памяти в пользу простой счётной сетки, было нечто, что я уловил с первого же посещения и что отозвалось во мне знакомым холодом — тем холодом, какой я ощутил в спальне в ночь после увольнения и какой, как я начинал понимать, не был случайным сквозняком, а был свойством той атмосферы, в которую я входил, и из которой не предвиделось выхода. Дом, в который мы переезжали, стоял на четвёртой по счёту улице, и был четырёхэтажным, и был построен, должно быть, в шестидесятые годы, в той манере, в какой строили дома для тех, кто не должен был их любить; стены его, выложенные серым кирпичом, посерели ещё больше за тридцать лет, и кирпич в нескольких местах раскрошился, и швы между кирпичами выкрошились, и эти выкрошившиеся швы заделывались жильцами по собственному почину тем, что было под рукой, отчего фасад имел вид рябого, лишённого порядка лоскутья. Подъезд был тёмный и пах кошками и сырой бумагой, наклеенной слой на слой объявлениями, и лампочка на лестнице горела через одну, и которая горела — горела тем тусклым жёлтым полусветом, в каком тени делаются гуще, чем при полной темноте, и шаги отдаются глуше, и человек невольно подбирает плечи, как будто бы войдя в чужой дом, в котором не знает ни хозяина, ни правил поведения. Квартира помещалась на третьем этаже и состояла из одной комнаты и кухни; вернее сказать, из одной комнаты и небольшого закутка при ней, который в плане значился как кухня, но был так мал, что в нём с трудом помещался узкий стол, два жёстких стула да плита, и человеку, садившемуся за этот стол, приходилось пододвигать стул вплотную к стене, и поворачиваться было можно только бочком, и М. в первые же дни принаровилась готовить, стоя в дверях этого закутка, потому что так выходило свободнее, чем заходить внутрь самой; я, со своей стороны, привык сидеть за столом, прижавшись локтем к холодной стене, и пить чай в этой неудобной позе, и наблюдать за нею в её половинчатом стоянии, и думал — теперь думаю, тогда не думал, — что эта поза, эта половинчатая принадлежность двум помещениям сразу, — ни тут, ни там, и оттого нигде. Окно комнаты выходило не во двор, как было в прежней квартире, а на ту самую четвёртую улицу, и за

окном проходила трамвайная линия, и трамваи проходили часто, и каждый трамвай вызывал в квартире лёгкое содрогание, к которому в первые дни я не мог привыкнуть, а потом привык и перестал замечать, и это было первой из тех мелких смертей слуха, какие я начал в себе считать, не подозревая ещё, насколько подсчёт этот окажется длинным.

* * *

Переезд занял два дня, и был я в нём настолько неловок, что М. в какой-то момент посмотрела на меня и сказала, без всякой досады, тем спокойным тоном, каким говорят о чужом человеке:

— Сядь. Я сама.

И я сел, и она в самом деле собрала остаток вещей сама, без меня, и складывала их в коробки с той сосредоточенной обстоятельностью, с какой женщина, оставшаяся одна при ещё живом муже, упаковывает не только имущество, но и тот порядок, по которому это имущество в её жизни располагалось; и я смотрел на это, и понимал смутно, что упаковывается не только то, что внутри коробок, но и кое-что другое, чего в коробку положить нельзя, и что в новой квартире распакуется уже без этого другого, и что между нами тогда обнаружится то, что прежде было прикрыто общим имуществом, а теперь окажется обнажённым. Из прежней квартиры мы вынесли не всё. Часть мебели, принадлежавшая, как объяснила М., её родителям и хранившаяся у нас по чистой случайности, была отправлена обратно к ним; часть вещей мы продали через объявление в той же газете, в которой я в эти недели притворялся, что ищу место; часть — раздали или выбросили. Среди выброшенного оказались вещи, расставаться с которыми, по строгому счёту, не следовало, но в моменты переезда человек редко судит строгим счётом, а судит торопливым, и кое-что отправляется на помойку только потому, что попало под руку в неудачную минуту. В числе прочего я выбросил пачку писем, лежавшую в нижнем ящике моего стола, — писем не любовных, не деловых и вообще не представлявших какого-нибудь определённого интереса, а просто старых, написанных мне в разные годы разными людьми, по большей части давно потерянными из виду, и сохранявшихся у меня по той инерции, с какой человек хранит всё, что попало к нему в руки и для чего у него не нашлось повода это выбросить раньше. Я не перечитывал их. Я взял пачку и опустил её в мешок с мусором, и завязал мешок, и вынес во двор, и поставил у бачка, и вернулся, и забыл. Только через несколько недель, в новой квартире, я вспомнил об этих письмах и подумал, что среди них были, должно быть, и письма от моей матери — короткие записки, которые она писала мне в годы, когда я ещё учился в другом городе, — и пожалел секунду об этом необдуманном жесте, и пожалел не самих писем, потому что о содержании их я ничего уже не помнил, а пожалел того, что я выбросил, не вспомнив, и что в этом невспоминании было что-то, чего я не хотел в себе видеть. Но было поздно, и я перестал об этом думать. Прежнюю квартиру мы сдали хозяйке за день до конца месяца, и хозяйка, осмотрев комнаты, кивнула, и не сказала ни хорошего, ни дурного слова, и приняла ключи, и пожелала нам удачи на новом месте, и слово «удача» она произнесла с той пустой добротой, какая отличает прощания людей, не предполагающих больше встретиться. М. поблагодарила её. Я поблагодарил тоже. Мы вышли на улицу, и за нами закрылась дверь подъезда, и я обернулся — не из чувства, а механически, из той привычки оглядываться, какая есть у всех нас при расставании с местом, в котором жили, — и увидел, что окна квартиры на третьем этаже, в которых я столько лет утром видел свет, теперь уже темны, и темнота их была не той вечерней темнотой, в которой за стёклами что-нибудь делается, а той окончательной темнотой пустых помещений, которая отличается от первой так же, как смерть отличается от сна, и я отвернулся и пошёл за М., и больше на ту улицу я не возвращался, и не нарочно, а просто потому, что не было случая, и потому что, как я понимаю

теперь, есть улицы, на которые человек не возвращается потому, что бессознательно знает: возвращаться некому, не он сам по этой улице ходил, а кто-то другой, кого больше нет.

* * *

В первые недели на новом месте мы оба, и М., и я, проявляли ту неестественную деятельность, которая свойственна людям, въехавшим в чужое жильё и пытающимся внутренним усилием превратить его в своё. М. развешивала по стенам какие-то картинки, прежде у нас стоявшие, а теперь почему-то вытасенные и водружённые на видные места; она перебирала посуду и расставляла её по полкам в особенном порядке, который имел для неё какой-то смысл, мне непонятный, но который я уважал в том смысле, что не вмешивался; она купила недорогой коврик и положила его в комнате под стол, и коврик этот, новый и яркий, выглядел в нашей квартире как заплатка, поставленная на чужую рубашку. Я, со своей стороны, занимался работой более грубой: чинил полку, которая отказывалась держаться на стене, потому что стена в этом месте крошилась под винтами; затыкал щель в окне старой газетой, поскольку из щели тянуло холодом; пытался наладить замок в двери, не желавший проворачиваться, и в конце концов наладил его, что доставило мне удовольствие, несоразмерное самому делу, и в этом несоразмерном удовольствии я узнал, не желая того узнавать, признак того, что я лишился занятий, и что заделка щели и налаживание замка заменяют мне теперь те бумаги, которые я подписывал в конторе. Деятельность эта, как я уже сказал, была неестественной — то есть совершалась не оттого, что в ней была внутренняя потребность, а оттого, что внутренней потребности не было ни в чём, а руки и тело требовали хоть какого-нибудь применения, и применение находилось вокруг, в очевидных недостатках жилища, и устранение этих недостатков создавало иллюзию, что мы устраиваемся, что мы вьём гнездо, что мы переходим из одного состояния жизни в другое, тогда как на самом деле мы не переходили никуда, а просто пытались отвлечься от того обстоятельства, что нас занесло в это помещение, и что в этом помещении нам предстоит, видимо, провести значительное время, и что время это не будет лучшим, и что чем меньше мы будем об этом думать, тем легче нам будет переносить день, пока мы не привыкнем настолько, чтобы не думать об этом уже без усилия. М. это, я думаю, понимала и без меня, и понимала, кажется, раньше меня, потому что женщины такие вещи понимают раньше — не оттого, что они умнее, а оттого, что они привыкли больше думать о пространстве, в котором живут, и о людях в этом пространстве, тогда как мужчины приучены думать о чём-нибудь другом, обычно о собственном положении в более широком мире, и обнаруживают сужение этого мира до одной комнаты только тогда, когда других комнат уже не остаётся. Она перестала улыбаться по утрам — не вдруг, а постепенно, и я заметил это не сразу, а лишь в один из дней спохватился, что давно не видел её улыбки в утренние часы, и попытался вспомнить, когда видел в последний раз, и не вспомнил. Но я не сказал ей ничего, и не спросил её, и предпочёл объяснить это себе тем, что новая квартира с её холодом, шумом трамваев и теснотой не располагает к утренним улыбкам, и что улыбки эти восстановятся со временем, когда мы привыкнем; и не подумал тогда — а теперь думаю, и теперь думать поздно, — что улыбки эти не вернуться, потому что они принадлежали другой женщине, той, что жила со мной в прежней квартире и которой больше не было, и что женщина, оставшаяся со мной здесь, в этом доме на четвёртой улице, была уже наполовину чужой, и оставалась она здесь не из любви и не по привычке, а по какому-то третьему соображению, которого я не знал и не хотел знать.

* * *

Деньги были предметом, которого мы избегали в разговорах, и избегали с той тщательностью, с какой избегают темы все люди, разорившиеся в браке: не из стыда перед другим, а из

стыда перед самим собой, потому что разговор о деньгах для человека, оставшегося без места, есть, по сути дела, разговор о собственной несостоятельности, и всякая фраза, в которой упоминается рубль или франк или какая бы то ни было денежная единица, оборачивается рано или поздно к тому, что человек этот не зарабатывает, и оборачивается у него самого в голове, прежде чем оборотится у собеседника. Я в эти месяцы не зарабатывал ничего. М. зарабатывала; что именно она делала и сколько за это получала, я знал смутно, потому что её работа была мне всегда не вполне понятна — она преподавала, или давала уроки, или занималась какойто редакторской подёнщиной, — и я никогда не вникал в подробности, считая, что её занятие — её дело, и проявляя в этом ту видимость уважения к её самостоятельности, под которой на самом деле скрывалось простое отсутствие интереса. Теперь, когда мы жили на её деньги, отсутствие моего интереса к её занятиям обнаружилось во всей своей нелестной для меня очевидности: я не знал, во сколько она выходит из дому, в какие дни, к каким людям, не знал имён этих людей, не знал, как далеко они живут и сколько ей требуется на дорогу. Я обнаружил это однажды утром, когда она ушла, не сказав куда, и я обнаружил, что не имею ни малейшего представления, где её искать, если бы понадобилось искать; и обнаружение это поразило меня не само по себе, а тем, как давно длилось это незнание и как мало я о нём подозревал. М. возвращалась в разное время. Иногда она возвращалась рано, к четырём, иногда мы пили чай в комнате, и она рассказывала о каком-нибудь пустяке — о новой ученице, или о книге, которую кто-то ей дал, или о том, что в булочной напротив сменился продавец; и я слушал её рассеянно, и кивал, и иногда задавал какой-нибудь вопрос, по большей части не относящийся к делу, и она отвечала на этот вопрос с тем терпением, какое у неё было всегда и которое я принимал за свойство её характера, не понимая, что терпение это растрачивается и что у всякого терпения есть дно. Иногда она возвращалась поздно, к восьми, к девяти, и в эти дни приходила усталой, и тогда мы не пили чая, а молча ужинали тем, что оставалось от ужина, который она приготовила утром и оставила мне, и я съедал, как правило, ровно половину, и она доедала вторую, и в этом разделении остатков, заведшемся между нами, было нечто, чего я не хотел называть. Иногда — реже — она задерживалась дольше, до одиннадцати, и возвращалась с лицом, на котором лежало то особенное выражение, какое бывает у людей, прошедших несколько часов в разговоре, важном для них и не разделённом с теми, к кому они после этого возвращаются; и в эти вечера она была со мной обходительна, но обходительность её была обходительностью человека, мысли которого ещё там, где их оставили, а не здесь, где сидит муж с поднятой к лицу чашкой, и я не упрекал её, потому что упрекать было не в чем — нельзя упрекать человека в том, что у него есть собственные мысли, и нельзя ставить в вину, что мыслями этими он не делится, — но и не упрекая, я замечал это, и заметив, складывал в копилку, неосознанно собирающуюся во мне в эти недели и месяцы.

Однажды, в ноябре — я помню, что в ноябре, потому что в окне в тот вечер шёл первый мокрый снег, — она вернулась поздно, около десяти, и, раздеваясь в прихожей, выронила из кармана пальто маленькую вещь, упавшую на пол с лёгким стуком; она наклонилась, подняла её и быстро убрала обратно, и быстрота этого жеста была такова, что я невольно отметил её, не отметив того, что именно она подняла. Я, впрочем, не взгляделся; и не из деликатности, а из той странной лени любопытства, какая в эти месяцы делалась во мне всё заметнее: мне не хотелось знать, что у неё в кармане, потому что знание это могло потребовать от меня каких-то выводов, а выводы я был не готов делать, ни в её сторону, ни в свою. Она прошла на кухню, поставила чайник и спросила, ужинал ли я; я ответил, что да; она кивнула. Потом, сидя за столом, она сказала, не глядя на меня:

— Я, может быть, на следующей неделе уеду на пару дней. К А., в Б.

А. была её двоюродная сестра, или троюродная, я никогда толком не понимал степени их родства, и жила в небольшом городе в трёх часах поездом, и М. время от времени ездила

к ней, и я никогда не возражал, и не сопровождал, потому что недолюбливал её из-за одной давней сцены, в подробности которой здесь нет нужды входить.

— Хорошо, — сказал я. — Когда?

— Не знаю ещё. Скажу.

— А что-то случилось?

— Нет, — сказала она. — Просто соскучилась.

Я кивнул. Она допила чай, и встала, и ушла в комнату, и стала готовиться ко сну, и я остался на кухне, и думал о том маленьком предмете, выпавшем из её кармана, и о том, что она, рассказывая мне об А., не посмотрела на меня ни разу, и о том, что прежде, когда она лгала, она всегда смотрела прямо в глаза, потому что считала это лучшим способом скрыть ложь, и о том, что теперь она не смотрела — и не оттого, что разучилась скрывать, а оттого, что больше не считала нужным скрывать так тщательно, и о том, что эта новая небрежность её лжи была хуже самой лжи, потому что означала, что я перестал быть тем, перед кем имеет смысл лгать как следует.

Думал я обо всём этом — и не сделал ничего. Я не вошёл в комнату и не спросил её. Я не открыл её сумку, висевшую в прихожей, и не посмотрел, что в ней. Я не позвонил А., чтобы справиться, ждёт ли она М., — не из доверия, а из того страха, какой бывает у людей, не желающих узнать то, что они уже знают и до подтверждения чего у них ещё остаётся возможность считать, будто они не знают. Я выпил чай и посидел ещё, и пошёл в комнату, и лёг рядом с М., которая, мне показалось, уже спала или делала вид, что спит, и лежал в темноте, и слышал её дыхание, и думал не о том, куда она поедет, и с кем встретится, и что у неё в кармане, а думал, странным образом, о вывеске магазина господина К., которая поскрипывала на ветру в осенние дни, и о том, что в этой новой квартире ничего такого не поскрипывает, и что отсутствие этого скрипа отчего-то задевает меня больше, чем то новое в М., что я в этот вечер заметил.

* * *

М. уехала на следующей неделе, в среду, и пробыла в отъезде четыре дня вместо двух, и вернулась в субботу к вечеру, и привезла с собой банку домашнего варенья, которую якобы передала ей А., и привезла также то особенное выражение лица, которое я уже видел в ноябре, и которое теперь я узнавал, как узнают повторяющийся симптом. Я не спросил её ни о чём, и она ничего не рассказала, и мы провели вечер так, как проводили все вечера в эти месяцы, и легли спать, и она уснула быстро, и я слушал её дыхание и думал, что должен был бы что-то спросить, и что не спрошу, и что и она знает, что не спрошу, и что в этом нашем обоюдном молчании заключено молчаливое соглашение, которое мы заключили не зная, что заключаем, и расторгнуть которое теперь уже нельзя, потому что вместе с расторжением расторглось бы и то небольшое, что между нами ещё держалось. Жизнь моя в эти недели не имела внешних событий, достойных упоминания, и я не стану выдумывать таковых, чтобы заполнить страницу: я сидел дома, я читал старые книги, найденные при разборе коробок, я ходил иногда в город, не имея определённой цели, и возвращался к ужину. Прежний маршрут — площадь с фонтаном, лавка господина К., тёмная лестница — был отрезан от меня не запретом, а простой географией: новая квартира лежала в часе езды на трамвае от тех мест, и ехать туда без повода было бы странно, а повода не было. Один раз я всё-таки поехал — не нарочно, а потому что в городе мне случилось оказаться поблизости — и прошёл мимо нашего прежнего дома, и поднял голову к третьему этажу, и увидел, что в наших окнах горит свет, и что за окнами движутся какие-то незнакомые мне силуэты, и что жизнь там идёт без меня, и идёт, по-видимому, благополучно, и что отсутствие моё в этом помещении ничего в нём не сдвинуло; и я постоял минуту, и пошёл дальше, и почувствовал не горечь, как мог бы предположить читатель, а нечто гораздо более неприятное — лёгкую обиду, такую же мелочную и недостойную, как обида ребёнка

на песочницу, в которой после его ухода играют другие дети. Обиде этой я не дал хода, и постарался её забыть, и в основном забыл, но осадок её остался, и осадок этот время от времени поднимался в течение последующих месяцев, и поднимался по самому ничтожному поводу, и я каждый раз удивлялся, насколько я оказывался мелочен в этих своих обидах, и насколько мало мог с собой что-нибудь поделаться. Магазин господина К. в ту прогулку я обошёл, не зайдя; не от смущения, а от того смутного убеждения, что зайти теперь, без надобности, значило бы изобразить участие, какого во мне не было, и поставить старика в ложное положение — заставив его делать вид, что он рад меня видеть. Я только остановился на углу и посмотрел на медную вывеску, и попытался уловить тот её скрип, который слышал столько лет; и в тот день, должно быть, не было ветра, или был не тот ветер, и вывеска молчала, и стояла неподвижно, и я подумал, что, возможно, она и всегда молчала, а скрипела только в моём воображении; и эта мысль, в которой не было никакой особенной глубины, остановила меня на месте, и я простоял на углу ещё минут пять, прежде чем сообразил, что стою без дела, и пошёл к трамваю.

* * *

К декабрю в нашей квартире сделалось окончательно холодно. Отопление работало плохо, батареи были тёплыми только наполовину, и в комнате стояла та влажная зябкость, какая хуже сухого мороза, потому что от неё не спасают одеяла. М. покупала тёплые носки и шерстяные шали, и одна шаль, тёмно-зелёная, в крупную клетку, появилась у неё новая, и я в первый день не обратил на неё внимания, а потом, в один из вечеров, спросил, откуда. Она ответила: — Купила. — Где? — У нас, тут, недалеко. — Я не видел, чтобы у нас тут продавалось такое. М. посмотрела на меня — посмотрела впервые за долгое время прямо в глаза, и в этом её прямом взгляде была не вина, а та особенного рода усталость, которая бывает у людей, утомившихся объяснять одно и то же человеку, не желающему слышать, и которая в какой-то момент оборачивается тем, что человек этот замолкает и просто отказывается от объяснений вовсе. Она пожала плечами и сказала: — Значит, не видел. И повернулась, и ушла на кухню. Я не пошёл за ней. Я остался сидеть, и думал, что вот сейчас, в эту самую минуту, происходит нечто, чему следовало бы помешать, и что не помешать этому означает согласиться с тем, что будет дальше, и что согласиться я как будто не хочу, но и не могу противиться, потому что для противления нужны слова, а слов у меня в эту минуту нет, и мне их неоткуда взять; и я не пошёл за ней, и она не вернулась, а легла спать в комнате одна, и я остался на кухне, и просидел там до глубокой ночи, не зажигая верхнего света, при одной только лампочке над плитой, и за окном проходили трамваи всё реже, и потом перестали проходить, и наступила та странная тишина окраины, в которой слышно, как где-то очень далеко гудит товарный поезд, и я слушал этот далёкий гудок и думал, что в этом гудке, в этом далёком, не относящемся ко мне звуке, заключено всё, что я могу сказать о своей жизни в эту ночь, и что было бы честно, если бы я сел сейчас и записал это, потому что иначе я забуду, как забыл уже многое, что следовало бы помнить. Но я не сел и не записал. Я пошёл в комнату, и лёг с краю кровати, чтобы не задеть М., и постарался уснуть, и кажется, в конце концов уснул, и приснилось мне в ту ночь нечто, чего я наутро не помнил, и о чём могу только сказать, что проснулся я в слезах, и что слёзы эти высыхали на щеках, пока я лежал и смотрел в потолок, и что М., проснувшись и увидев мокрое моё лицо, ничего не спросила, а только встала и пошла на кухню ставить чайник, как делала это каждое утро.

* * *

В январе случилось то, что я до сих пор затрудняюсь назвать определённым именем, и о чём расскажу здесь не потому, что считаю это событием в строгом смысле слова, а потому что

после этого вечера между мной и М. произошёл сдвиг, после которого многое стало возможным из того, что прежде казалось ещё невысказанным. Был один из тех зимних вечеров, в которые на окраине нашего города делается особенно темно, потому что фонари там горят через два, а снег ложится грязный и быстро тает в чёрную кашу под ногами. М. вернулась с работы около семи, и была, как мне показалось, не такую усталой, какую бывала обыкновенно, а скорее наоборот — собранной, аккуратной, с тем тщательно сложенным внутренним порядком, какой бывает у людей, что-то для себя решивших и теперь только ожидающих повода это решение огласить. Она прошла на кухню, разогрела ужин, села напротив меня и принялась есть, не глядя на меня, но и не отворачиваясь, а смотря прямо перед собой в окно, в котором не видно было ничего, кроме отражения нашей же кухни. Я сидел, и мне было неловко, и я попытался начать разговор: — Как день? — Обыкновенно. — Кто-нибудь был? Она помолчала, и потом сказала: — Был один человек. Я ждал продолжения; продолжения не последовало. — Кто? — спросил я через минуту, потому что молчание затягивалось. — Один человек, — сказала она. — Ты его не знаешь. — Мужчина или женщина? Она посмотрела на меня, и в её взгляде было то самое выражение, какое я уже не раз замечал в последние месяцы, и которого боялся, и которое в этот раз было особенно отчётливо, — выражение человека, удивлённого тем, что собеседник его до сих пор не понимает того, что давно следовало понять. Она сказала: — Мужчина. Я молчал. Я ждал, что она скажет дальше; что объяснит, что назовёт, что сделает шаг, после которого я мог бы что-то сделать в ответ — рассердиться, возмутиться, потребовать. Но она ничего не сказала. Она доела свою тарелку, и встала, и унесла тарелку в раковину, и принялась мыть её спокойно, с той неторопливостью, с какой делают домашние дела, не нагружая их смыслом; и я сидел за столом, и понимал, что мне сейчас надо что-то сказать, и что время, отпущенное на то, чтобы сказать, истекает, и что молчание моё в эту минуту будет иметь последствия, и что я тем не менее молчу, и что молчание это будет истолковано — и истолковано неверно, а в точности так, как и следует его истолковать. Я сказал: — Понятно. — Что тебе понятно? — спросила она, не оборачиваясь, продолжая мыть тарелку. — То, что ты сказала. — Я ничего не сказала. — Ты сказала достаточно. — Достаточно для чего? Я молчал. Я не знал — достаточно для чего; точнее, я знал, но не мог произнести этого вслух, потому что произнесение требовало действия, а действовать я был не способен. Я сказал, наконец:

— Достаточно, чтобы понять.

Она вытерла тарелку, поставила её в шкаф, повернулась ко мне и сказала, глядя мне в лицо, очень тихо и очень ровно:

— Если ты что-то понял, это твоё дело. Я тебе ничего не сказала.

И вышла из кухни, и я остался один.

Я присидел в кухне ещё с час; я не помню точно, сколько именно. Я пытался думать о том, что произошло, и пытался придать произошедшему хоть какую-нибудь определённую форму — назвать всё это, например, изменой, и испытать вследствие этого названия тот гнев, или ту боль, или ту смесь гнева и боли, какую полагается испытывать в подобных случаях. Но название не приставало к происшедшему, потому что происшедшего, в строгом смысле, не было: М. не сказала мне ничего; она лишь дала мне понять, что есть некоторая область её жизни, в которой присутствует мужчина, и что область эта мне неизвестна, и что узнавать о ней мне следует не у неё, а у самого себя, как у того единственного источника, который, если в чём-нибудь и виноват, то виноват прежде всего. И эта чрезвычайная тонкость её сообщения, эта виртуозность, с какой она сумела сказать всё, не сказав ничего, и переложить тяжесть сказанного с себя на меня, повергла меня в состояние такого изумления — почти восхищения, если позволительно так выразиться, — что я и в самом деле забыл на минуту о существовании дела и думал только о форме, в которую дело было ею облечено. Потом я подумал — и это была первая моя ясная мысль за этот вечер, — что М., делая это сообщение, делала его, должно быть, не сегодня впервые, а вынашивала его много недель, может быть месяцев, и только дожидалась

подходящего случая; и что вечер был выбран ею не случайно, а тщательно; и что слова, которые она произнесла, были ею продуманы заранее во всех своих оттенках, и что молчания между этими словами были такою же частью её речи, как и сами слова. И тогда мне сделалось не то чтобы стыдно, потому что стыд предполагает некоторое внутреннее достоинство, способное стыдиться, а тяжело тем особым родом тяжести, какая бывает у человека, обнаружившего, что в близком ему существе совершается долгий и сложный внутренний процесс, о котором он не имеет и не имел никакого представления, и что процесс этот совершался при нём, в одной с ним комнате, на одной с ним постели, и совершался, должно быть, годами, и что годы эти он провёл рядом с человеком, занятым тем, чего он не видел и не пытался увидеть. Я встал, выключил свет в кухне, прошёл в комнату. М. лежала в постели — не повернувшись, как обыкновенно, лицом к стене, а лежала на спине, с открытыми глазами, и смотрела в потолок. Я разделся в темноте — впервые в жизни я разделся в темноте, и подумал тогда, что вот, теперь я делаю то, что всегда делала она, и не знаю почему делаю, и не спросил себя почему, — и лёг рядом, и мы лежали в темноте, оба на спинах, оба с открытыми глазами, и никто из нас не повернулся к другому, и никто из нас не произнёс ни слова, и сон в эту ночь не пришёл ни к одному из нас, и мы лежали так часа три или четыре, прежде чем я начал чувствовать, что глаза мои закрываются, и в момент, когда они уже почти закрылись, М. сказала, очень тихо, не поворачивая головы: — Тебе всегда было всё равно. Я ничего не ответил. Я мог бы возразить — мог бы сказать, что нет, мне было не всё равно, и привести в подтверждение какие-нибудь мелкие факты, какие у мужа в подобных случаях всегда находятся, потому что муж и в этих случаях, в эти самые минуты, продолжает думать о собственном оправдании. Но я не возражил, и в этом моём невозражении было, должно быть, единственное правдивое слово, какое я сказал ей за все последние месяцы; и сказано было это слово молчанием, и услышано было молчанием же, и обмен этот закрыл собою тот вечер, а вместе с ним и многое другое, чему я тогда ещё не умел дать имени.

* * *

Наутро всё было по-прежнему. М. встала, поставила чайник, заварила чай, разрешила хлеб, намазала маслом, поставила передо мной тарелку. Я сел, поел, поблагодарил. Она убрала посуду. Я ушёл в комнату, она ушла на кухню, я слышал, как она моет, как открывает кран, как закрывает. Снаружи, на улице, проходил трамвай, и квартира слегка содрогнулась. Прошёл январь, и наступил февраль, и в феврале не случилось ничего, что заслуживало бы здесь упоминания. М. ездила к А. ещё дважды; я не спрашивал. Она возвращалась всё с тем же выражением лица, которое я в эти месяцы научился узнавать так же ясно, как узнают походку близкого человека на лестнице, — выражением присутствия в другом месте, выражением мыслей, которыми не делятся. Я перестал ждать, что она поделится; я не уверен даже, что в эти недели я ещё чего-нибудь от неё ждал. Между нами установился тот род совместной жизни, при котором каждый знает о другом достаточно, чтобы не задавать вопросов, и слишком мало, чтобы понимать ответы, и при котором существование под одной крышей продолжается единственно по инерции и оттого, что начать жить в другом месте — отдельно или ещё с кем-нибудь — потребовало бы того усилия, которого ни у меня, ни, как мне тогда казалось, у неё уже не оставалось. В последнем я ошибался; усилие у неё оставалось, и оно было больше моего, и она это усилие однажды произведёт, и я об этом узнаю не сразу. В конце февраля, в один из выходных дней, она сказала:

— Я, может быть, поеду к А. надолго. На неделю или больше.

Я кивнул.

— Хорошо.

— Ты ничего не хочешь спросить?

Я задумался. Я задумался не над тем, что спросить, а над тем, нужно ли спрашивать; и решил, что не нужно, и сказал:

— Нет, ничего.

М. посмотрела на меня — посмотрела как-то иначе, чем смотрела до сих пор, не с упрёком и не с усталостью, а с каким-то новым выражением, в котором было что-то похожее на жалость, но не жалость, а скорее то, что испытывает человек, отходящий навсегда и оглядывающийся на другого человека, остающегося, и понимающего, что этому другому в его отсутствии будет трудно, и что облегчить эту трудность невозможно, и что остаётся только зафиксировать её взглядом, прежде чем повернуться и уйти. Этот её взгляд был последним, который я помню отчётливо; впоследствии я видел её ещё много раз, разумеется, но в памяти моей её лицо застыло в том февральском выражении, и осталось там навсегда, и теперь, когда я пишу эти строки, я закрываю глаза и вижу её именно такую, и не иначе. Она уехала во вторник на следующей неделе. Я проводил её до двери, поднёс её небольшой чемодан до лестничной площадки — нести его вниз по лестнице она мне не дала, сказав, что справится сама, — и стоял в дверях, пока она спускалась по тёмной лестнице, и слышал её шаги до первого этажа, и стук двери подъезда, и потом тишину, которая вернулась в квартиру, и которая показалась мне в эту минуту иной, чем та тишина, которая бывала в эти месяцы прежде; не громче и не тише, а другой по составу, как бывает другим по составу воздух перед грозой, и человек, чувствительный к подобным вещам, узнаёт грозу прежде, чем услышит первый гром. Я закрыл дверь, прошёл в комнату, сел у окна. Снаружи проходил трамвай, и квартира содрогнулась, и я подумал — теперь думаю, тогда не подумал, тогда я ещё не умел так формулировать, — что вот сейчас, в эту самую минуту, со скрежетом этого трамвая, в моей жизни закрылась ещё одна дверь, и что закрылась она не громко, а тем тихим щелчком, какой бывает у дверей, не запирающихся на ключ, но и не открывающихся обратно без усилия снаружи, и что усилия этого никто извне прилагать не станет, потому что некому.

III

М. вернулась через девять дней, не во вторник, как уехала, а в четверг, и не вечером, как я её ждал, а среди дня, около двух часов, когда я, никого не ожидая, сидел у окна с книгой, которую читал не глазами, а только пальцами, поскольку прочитанного через четверть часа уже не помнил, и продолжал переворачивать страницы по той же инерции, по которой делал в эти месяцы и многое другое. Дверь открылась без звонка — у неё был свой ключ, разумеется, — и я услышал стук чемодана, поставленного в прихожей, и шорох пальто, снимаемого с плеч, и эти звуки сложились во мне с такой готовностью, как будто они и не прекращались эти девять дней, а только притихли, и я подумал — теперь думаю, тогда не подумал, — что в этой готовности обыденного шума возобновиться было, должно быть, единственное, что ещё удерживало брак на стенах нашего жилья, и удерживало по той хрупкой причине, по какой держится вообще всё в человеческом обиходе: потому что мы не приучены замечать, как именно держится то, что держится, и приходим в смятение, лишь когда оно отказывается держаться дальше.

Я встал из-за стола, и положил книгу обложкой вверх, и пошёл в прихожую. М. стояла у вешалки, спиной ко мне, и снимала шарф, и в наклоне её головы, и в неловкости, с какой её пальцы возились с узлом шарфа, было что-то, чего я в ней прежде не видел: не усталость, и не та сосредоточенная отдельность, к которой я привык, а какая-то простая физическая измученность человека, прошедшего долгий путь и ещё не вполне освоившегося с тем, что путь кончился. Я сказал ей здравствуй, и она ответила «здравствуй», не оборачиваясь, и потом обернулась, и я увидел её лицо — и тут же отвёл глаза, потому что лицо это было не тем, какое я провожал девять дней назад в дверях, а лицом человека, побывавшего где-то, откуда возвращаются другим, и в этой перемене не было ничего вдруг бросающегося в глаза, не было ни синяков, ни следов слёз, ни иной грубой приметы, какую заметил бы посторонний; перемена была тонкая, внутренняя, и оттого видимая только мне, и оттого я отвёл глаза, ибо смотреть на неё в эту минуту значило признать, что я её видел, а признавать я не был готов.

— Как доехала? — спросил я.

— Хорошо, — сказала она. — Без приключений.

— А там как?

— Там — обыкновенно.

И больше ничего ни я не спросил, ни она не сказала. Она пронесла чемодан в комнату и поставила его у стены, и не стала разбирать; и в этом нежелании разбирать, в этой паузе перед тем, как раздёрнуть молнию и вынуть из чемодана те жалкие вещи, которые человек берёт в недельную поездку, — в этом многочасовом простаивании чемодана у стены, словно бы не до конца внесённого в квартиру, я прочёл то, чего она вслух не сказала, и что сама, я думаю, ещё не готова была произнести: что разбирать не имеет смысла, потому что вскоре придётся собирать обратно. Я не сказал ей и об этом. Я прошёл на кухню, поставил чайник, разогрел тот суп, который варил себе накануне, и который, в общем, был несъедобен, но другого ничего не было; и она зашла на кухню, и я предложил ей супу, и она отказалась, и сказала, что не голодна, и в подтверждение того, что не голодна, выпила одну чашку чая, и не съела ни кусочка хлеба, и потом ушла в комнату, и я остался один за столом, и доел свой суп, и думал о том, что вот, она вернулась, и брак наш, по всем внешним признакам, восстановлен, и что внешние признаки в подобных случаях ничего не значат, как ничего не значит температура в комнате, из которой только что вынесли мертвеца, и в которой жизнь уже не возобновится, сколько бы ни топили печь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.